



Ч и т а й т е в с е р и и

Детство Иисуса

Сцены из провинциальной жизни

Узкая дорога на дальний север

Возлюбленная

Смерть речного лоцмана

Ричард
Флэнаган

Смерть
речного лоцмана



Москва
2016

УДК 821.111-31(94)
ББК 84(8Авс)-44
Ф69

Richard Flanagan
DEATH OF A RIVER GUIDE

Copyright © 1994, Richard Flanagan. All rights reserved

Photograph by Peter Dombrovskis © Liz Dombrovskis

Перевод с английского *И. Алчеева*

Художественное оформление серии: *К.А. Терина, А. Сауков*

Флэнаган, Ричард.
Ф69 Смерть речного лоцмана : [роман] / Ричард Флэнаган ; [пер. с англ. И. Н. Алчеева]. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 384 с. — (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).

ISBN 978-5-699-88443-8

Именно благодаря этой книге о Флэнагане заговорили как о звезде современной прозы. Он рассказал историю человека, оказавшегося в страшной ситуации — в плену реки. В этот момент смертельной опасности перед мысленным взором героя возникают картины из прошлого: семья, туземцы, деревня с мелкими хижинами, похищенные женщины, плавучие тюрьмы, звери, птицы. Они все кружатся, обступая его в воде. И он плывет по реке. Вот только куда?

УДК 821.111-31(94)
ББК 84(8Авс)-44

ISBN 978-5-699-88443-8

© Алчеев И., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Э», 2016

*Майде,
моему оплоту, моей любви*

Чей взор объял времен основу,
В чей слух вливалось
Средь дерев,
Где он бродил, весь мир узрев,
Само Божественное слово¹.

Уильям Блейк

От нас, по сути, требуется единственное мужество: с открытой душой встречать самое странное, самое уникальное и самое загадочное, с чем мы можем столкнуться. То, что люди в этом смысле трусы, нанесло жизни безмерный вред; все эти «видения», весь этот так называемый духовный мир, смерть — все они были так сродственны нам, что оказались настолько вытеснены из жизни, что чувства, которыми мы могли бы воспринимать их, отмерли. Я не говорю уже о Боге².

Райнер Мария Рильке

¹ Перевод В. Зайцевой.

² Перевод А. Беломорской.

ГЛАВА 1

При рождении шею мне обмотало пуповиной, и я появился на свет, отчаянно размахивая обеими ручонками, но притом ни разу не пискнув, потому как мне пришлось отчаянно хватать ртом воздух, что было необходимо, чтобы выжить вне материнской утробы, когда меня душило той самой штуковиной, которая до этого служила мне защитой и давала жизнь.

Такого зрелища вы точно никогда не видывали!

И не столько потому, что я едва не задохся, сколько потому, что родился я в «рубашке» — полупрозрачной оболочке яйцеклетки, внутри которой рос, будучи в утробе. Задолго до того, как моя мокрая рыжая головка выглянула из содрогающейся в схватках материнской плоти, — когда я мучительно выталкивался в этот мир, родовая рубашка, видать, разорвалась. Но я чудом вышел из матери, все еще находясь в плену той упругой шаровидной спасительной оболочки и совершенно не представляя себе, как избавиться от нее в этом мире. Я бултыхался в мягком синюшном мешке, заполненном околоплодными водами, неуклюже суча ножками и напрасно тычась ручонками в плодные оболочки, при том что головка моя была наглухо обвита кольцом пуповины. Я проделывал странные отчаянные движения, будто был навсегда обречен созерцать жизнь сквозь тонкую слизистую пленку, отгородившись от

остального мира и от себя самого преградой, которая до сих пор служила мне защитой. Мое появление на свет было и остается странным зрелищем.

Тогда мне, понятно, было невдомек, что я почти вырвался из моего ненадежного плена, а тот, в свою очередь, высвободился из чрева моей матушки, стенки которого меньше чем за день до этого вдруг задвигались все сильнее, все судорожнее. Знай я загодя обо всех напастях, готовых вскоре обрушиться на мою голову, я оставил бы все как есть. Впрочем, какая разница? Стенки то сжимались, то разжимались с единственной целью — вытолкать меня из мира, казавшегося мне настолько хорошим, что я не сделал там ничего плохого, если не считать крамольным тот факт, что я рос себе и рос, покуда не вырос в цельного человека из каких-то там клеток.

С этого времени крыша и фундамент моего мира ходили ходуном беспрестанно, и каждое их последующее движение оказывалось сильнее предыдущего, подобно тому, как разрастается приливная волна, перекатывая через каждый новый риф. С таким напором мне, понятно, оставалось только смириться, позволяя себе биться о тесные стенки родовых путей, а голове — болтаться из стороны в сторону. Но к чему такие унижения? Я любил тот мир, его тихо пульсирующую тьму, приятные теплые воды, любил легкие покачивания из стороны в сторону. Кто же привнес свет в мой мир? Кто привнес сомнения в мои действия, некогда совершенно беспричинные, бессознательные? Кто? Кто толкнул меня на этот путь, о чем я никогда не просил? Кто?

И почему я смирился?

Но откуда я все это узнал? Ведь я не мог. Должно быть, мне все привиделось.

И все же... и все же...

Повитуха быстро и ловко распутала пуповину, затем, проткнув пальцем рубашку, как Джеки Хорнер¹, выковыривающий изюминку из кекса, вспорола родовой мешок снизу вверх — к моей голове. Легкий поток жидкости хлынул на дощатый настил комнатенки в Триесте, превращая пол в скользкую, как самая жизнь, опору. Потом — пронзительный крик. И усмешка.

Матушка сберегла родовые оболочки. Чуть погодя она высушила их, чтобы эта рубашка, как считалось, принесла большую удачу и младенцу, в ней родившемуся, и ее владелице, став своего рода спасательным кругом, который не даст им утонуть. Матушка намеревалась сохранить ее и передать мне, когда я вырасту, но в первую же мою зиму я здорово расхворался — схватил воспаление легких, и она продала рубашку какому-то моряку, чтобы купить мне фруктов. Тот моряк то ли зашил ее себе в куртку, то ли собирался это сделать — по крайней мере, так он сказал матушке.

В ту давнюю ночь, когда я родился, повитуха — все знали ее под внушительным именем Мария Магдалена Свево, хотя настоящее ее имя было Этти Шмиц, но она его ненавидела, — выключила резкий электрический свет и распахнула ставни, поскольку роженица больше не издавала страдальческих криков, которые могли услышать там, на улице. В комнату влился дивный осенний ночной воздух, а следом за ним с Адриатического моря потянуло зловонием — особым душливым, типично европейским смрадом

¹ Джеки Хорнер — персонаж детского четверостишия, известного с XVIII века; пай-мальчик, любящий полакомиться. — *Здесь и далее прим. перев.*

вековых войн, скорби и тяги к жизни, и эта вонь тут же вступила в борьбу с густым, насыщенным кровью духом рождения, заполнявшим пустую комнату с шерстяным одеялом вместо двери, стенами с облупившейся штукатуркой и одинокой глянцеволоснящейся картинкой Мадонны, прикоснувшейся к Скорбящему вытянутыми перстами правой руки. Вот это были персты! Длинные-длинные и шелковисто-гладкие, совсем не похожие на корявые куцые пальцы Марии Магдалены Свево.

Мария Магдалена Свево опустила на колени и тряпкой в грубых, натруженных руках принялась оттирать кровь и околоплодные воды, покамест все это не просочилось в щели меж заляпанных половиц, которые, как она заметила в задумчивости, служили архивом человеческой жизни, анналами, писанными выцветшими пятнами крови, вина, семени, мочи и прочими следами развития жизни от рождения до юности, любви, немощи и смерти. Пока Мария Магдалена Свево прибиралась, матушка моя наблюдала, как ее широкая, выгнутая спина ходит взад-вперед полумесяцем, посеребренным светом полной луны, наполнявшим мою родильню безмятежным сиянием.

Откуда же мне известно все это? Мария Магдалена Свево, с усмешкой распутавшая пуповину на моей шее и продолжавшая усмехаться потом всякий раз при виде меня, поведала историю моего рождения лишь в двух словах, так что узнать все от нее я не мог. А матушка сообщила и того меньше. Она даже не удосужилась сказать, что я родился в Триесте, пока мне не стукнуло десять. А рассказала после того, как мы узнали, что Мария Магдалена Свево едва не распрощалась там с жизнью при весьма забавных обстоятельствах,

когда возвращалась к себе домой. Парочка подвыпивших школяров на мопеде ненароком наехала на нее на рынке. Поговаривали, будто выжила она благодаря своей крепости и стойкости, а вот те двое школяров отдали богу душу через сутки, но, как бы то ни было, восьмидесятилетняя Мария, провалявшись три месяца в больнице, вернулась в Австралию в куда более добром здравии, нежели перед отъездом. Но, с другой стороны, как выражался мой папаша Гарри, ей всегда мало, что ни дай.

Когда матушка расплатилась за родовспоможение, все честь по чести, Мария Магдалена почувствовала себя обделенной и осушила призовую бутылку виски — единственную матушкину бутылку виски, которую она получила в награду за страстную ночь с моим папашей. Эта бутылка, не считая нежеланного сына — меня, была всем, что она поимела от моего родителя, отбывавшего в ту пору срок в тюрьме по соседству. Матушка потом частенько причитала, что ей было бы куда лучше, прихвати тогда Мария Магдалена Свево вместо виски меня. А Мария Магдалена Свево, по обыкновению, только усмехалась в ответ.

— Все вы, Козини, одного поля ягоды, — говорила она. — Тебе подарили жизнь, и что? Ты наплевал на этот дар! Мамаше твоей хотелось поскорей от тебя избавиться, а тебе было до того неохота появляться на свет, что ты даже попробовал удавиться, едва завидел его в конце родовых путей. Ха! — С этими словами она снова приложилась к сигаре, деля сей порок с моей матушкой, у которой она при случае не чуралась умыкнуть курево.

— Она только сокращает себе жизнь, а мне продлевает, — говорила матушка, обнаруживая мелкие

пропажи. — Ну а за то, что я проживу меньше времени бок о бок с нею, мне и впрямь впору благодарить судьбу.

Матушка, конечно, кривила душой, поскольку, сказать по чести, они обе получали удовольствие от жизни бок о бок друг с дружкой, хотя ни за что на свете в этом бы не признались. Когда же Мария Магдалена Свево покупала сигары на свои кровные, что бывало крайне редко, она предпочитала малоизвестную австрийскую марку в картонной коробке, тисненной двуглавым орлом.

— Последний пшик империи, — усмехалась она, затягиваясь напоследок ароматным дымом, прежде чем затушить окурочек.

Она очень любила поговорить об удовольствии от последней сигары.

— Сколько же людей так и не извели прелести курения напоследок? Сигар, сигарет — все едино. Так сколько, скажи мне, Аляж?

Она всегда старалась придать моему имени мягкости и благозвучности. Порой мне даже казалось, что ей нравится выговаривать мое имя на иной лад, чувствуя при этом, как оно щекочет ее рыхлое, прокуренное горло и потом медленно срывается с пухлых губ, окутанное клубами табачного дыма. «А-люш, А-люш, А-люш», — твердила она, точно заклинание или детский стишок, ни к кому, собственно, не обращаясь, в то время как я поглядывал на нее с почтительной улыбкой, а она, когда замечала меня, улыбалась в ответ и снова заводила речь о прелести курения.

— А потом, на смертном одре, они выкуривают первую сигару, за ней другую, третью и не знают, какая же будет последней, предсмертной, и потому не могут

насладиться последним мимолетным ощущением ароматного вкуса. — При этом она тыкала в меня своей огромной сигарой, помахивая ею, точно дирижерской палочкой, для вящей убедительности. — Так что, Аляж Козини, возьми-ка себе за правило выкуривать по сигаре хоть бы раз в год — тогда ты будешь жить в предвкушении ежегодного удовольствия, чтобы потом долго его вспоминать. Все равно как лечение на водах. — Она постукивала по сигарной коробке с двуглавым орлом, понимающе подмигивала мне и усмехалась. — Как отрекшиеся от войн империи.

Я мало что понимал из того, что она говорила, но почему-то ее слова засели у меня в голове — запечатлелись, как тот тисненый двуглавый орел на сигарной коробке, яркий, выразительный, вот только хоть бы кто объяснил мне, что все это значит.

У Марии Магдалены Свево была целая куча историй про последние сигары. Некоторые она пересказывала с любовью — как величайшие памятные события, романтические и трагические; другие — как мгновения мимолетных простых удовольствий, едва запечатлевшихся в памяти. Последние сигары у нее были исполнены уныния, вроде той, что она выкурила в день отъезда из Триеста на жительство в Австралию, сидя на балконе *пансиона* у своего презренного зятя Энрико Мрюэле и в последний раз глядя на солнце, восходящее над ее родным, милым сердцу городом. С особым умилением рассказывала она о том, как слезы капали ей на руку и, стекая по ней, мочили сигару, придавая последним затяжкам острый, горьковато-соленый привкус. Забавный случай с последней сигарой произошел у нее, когда они с матушкой трудились на кондитерской фабрике на хобартских верфях — наклеивали эти-

кетки на банки с вареньем. В банку с ананасово-дынным вареньем попал окурочек. Мария Магдалена Свево была из тех женщин, для которых доброкачественность значила все, и ей очень нравилось австралийское выражение «Сидней или буш»¹, заключающее в себе большую часть ее представлений о жизни. Зачем же она засунула окурочек в банку с вареньем, которая должна была достаться какой-нибудь бедной домохозяйке в каком-нибудь новом, богатом кислородом австралийском предместье? «Сидней или буш», — отвечала она, приправляя свои слова мрачными клубами дыма. «Их варенье — дерьмо. Такое покупают только дураки. Либо хорошее варенье, либо ничего. И последняя сигара была в этом смысле моим предупреждением добрым австралийцам». Она собирала правую руку в кулак и для убедительности молотила им по воздуху с зажатой меж пальцев сигарой, точно пламенным кастетом. «Хорошее варенье (*хватъ*) или ничего. (*хватъ*) И никакого дерьма. (*хватъ*) Сидней или буш».

Бывали с последними сигарами и прискорбные случаи — к примеру, когда она курила на матушкиных похоронах и стряхнула пепел в могилу, слышав распевные слова священника: «Пепел к пеплу, прах к праху». И тому случаю с последней сигарой я лично был свидетелем. Священник аж язык проглотил. Все перевели взгляд с могилы на Марию Магдалену Свево. На ней было черное платье и черная же широкополая шляпа по моде, должно быть, бытовавшей в Триесте еще в тридцатых. Ну а в шестьдесят восьмом в Хобарте, в Тасмании, она, понятно, была ни к селу ни к городу. На любой другой она смотрелась бы смешно — только

¹ То есть «все или ничего», «пан или пропал».

не на Марии Магдалене Свево. На ней она смотрелась восхитительно. Из-под широкого поля ее глазенки — хотя на самом деле у нее были темно-карие глазищи, только так глубоко запрятанные в складках кожи, что казались мускатинками или кишмишинками, которыми матушка обычно заправляла *штрицели*, — так вот, этими самыми глазищами, в которых можно было запросто утонуть, если нырнешь, она воззрилась на священника с самым грозным видом, на какой только была способна. А будучи пышкой-коротышкой, Мария Магдалена Свево порой и впрямь выглядела устрашающе. В такие мгновения она исполнялась, что называется, мистической силы. Своим распевным триестинским выговором она самым строгим тоном возгласила: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» И с этими словами вышвырнула окурок. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Горящий окурок взвился и, оставляя за собой круживший спиралью дымный след, у всех нас на глазах упал прямо в могилу. А когда мы все дружно оторвали взгляд от могилы, то увидели, как Мария Магдалена Свево, развернувшись на шпильках (туфли с высокими каблуками она купила специально по этому случаю), зашагала прочь.

Ах, Мария Магдалена Свево, видела бы ты меня сейчас — как я, кто бы мог подумать, тону в реке Франклин, глядя сквозь ее кипящие воды в расщелину между скалами, над которыми различаю свет. Он совсем не далеко, этот свет, и я рассказал бы тебе, будь ты рядом, как же мне хочется достать до него. Сидней или буш. Жизнь или смерть. Другого не дано.

Мне смешно при мысли, что не ты, выкурившая столько всякой гадости, а я умираю оттого, что у меня